

Историографическое письмо как дискурсивная практика¹

Юрий Троицкий

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Юрий Шатин

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Многие существующие до сих пор в отечественной историографии периодизации и классификации, а также характеристики историков носили принципиально идейный или историко-биографический характер. Понять предшественников означало, прежде всего, описать их принадлежность к тому или иному течению или направлению, отмеченному в качестве сложившейся традиции. Иногда, правда, имел место имманентный анализ историографического текста или целого жанра (прежде всего – летописей и иных средневековых нарративов, не вполне гомогенных в жанровом отношении), итогом которого была реконструкция основных содержательных значений. Подобные представления были следствием определенного понимания историографии: так, например, в XIX в. А.С. Лаппо-Данилевский в неопубликованных записках предлагал под историографией «разуметь более или менее цельную *концепцию* истории *человечества*, целой страны или нации, концепцию, получившую свое выражение в каком-либо произведении исторической *литературы*»². Создавалась иллюзия, что историческое описание, каким бы пространственным оно не было, можно представить как некоторое заявление историка о своих взглядах по поводу описанного сюжета и на историю вообще. Историографическое письмо казалось прозрачным для всепроникающих значений, которые автор-историк собирался закрепить самим актом письма. Субъективное убеждение в том, что писание истории подчиняется исключительно законам

¹ Статья в первом варианте была опубликована в журнале «Дискурс», 5/6 - 1998. Новосибирск, 1998. (С.60-65).

² Цит. по: *Р.А. Киреева*. Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с середины XIX в. до 1917 г. М., 1983. С. 81.

смыслообразования, но не текстопорождения, пронизывает отечественную историографию XIX и отчасти XX в.

Настоящим открытием для историков стало обнаружение «непрозрачности» языка исторического описания. Формулируя эту проблему применительно к простому прошедшему времени во французском языке, Р. Барт писал: «Общей целью Романа и повествовательной Историографии является объективация фактов: простое прошедшее время воплощает самый акт, при помощи которого общество овладевает своим прошлым и своими возможностями»³. По словам Р. Барта, «простое прошедшее время стремится поддержать иерархию в Царстве фактов. Благодаря его употреблению глагол незаметно включается в цепочку причинно-следственных отношений, входит в совокупность взаимозависимых и однонаправленных событий <...> выдавая временную последовательность явлений за их каузальное следование»⁴.

В написанной около двух с половиной тысяч лет назад «Поэтике» Аристотель выявил одно из существенных отличий исторических сочинений и художественных текстов. По Аристотелю, если историк говорит о делах действительно случившихся, то поэт – о делах, которые могли случиться или должны были случиться по вероятности.

В самом деле, до тех пор, пока мы стоим на натурфилософской точке зрения, согласно которой события происходят так, как они происходят, а тексты лишь фиксируют эти реальные или возможные (вероятные) события, правда древнегреческого философа очевидна. Положение существенным образом изменится, если мы предположим, что и исторические, и художественные тексты обладают самостоятельной реальностью. Такое предположение вовсе не лишено смысла, поскольку разные философские системы по-разному отвечают на вопрос, что чему предшествовало – дело слову или слово делу.

Отправной точкой нашего исследования текстов некоторых отечественных историков XIX в. стало предположение о том, что историографическое письмо может быть понято как дискурсивная практика, имеющая собственную имманентную логику развития. Как считает В.Н. Топоров, «последовательное развитие «нарративной» структуры удобно изучать по характеру «фабулизации» одного и того же сюжета»⁵. В качестве такого сюжета мы выбрали летописное известие о крещении Руси. Этот сюжет удобен в том смысле, что ни в одном сколько-нибудь полном курсе отечественной истории он не обойден вниманием и потому имеется достаточно много его «фабулизаций», и в то же время он представлен единственным исходным «протографом» Повести временных лет. К тому же летописное сообщение о крещении Руси представляет собой весьма изощренный сюжет. По словам Голубинского, «кто любит занимательные и замысловатые повести, того повесть о крещении Владимира

³ Р. Барт. Нулевая степень письма // Семиотика / Сост. Ю.С. Степанов. М., 1983. С. 322.

⁴ Там же. С. 320.

⁵ В.Н. Топоров. «Бедная Лиза» Карамзина. Опыт прочтения: К двухсотлетию со дня выхода в свет. М., 1995. С. 283.

должна удовлетворять вполне, ибо достоинство замысловатости ей принадлежит бесспорно»⁶.

Сравнение текстов Н.М. Карамзина и С.М. Соловьева обнаруживает несовпадения по основным пунктам сюжетосложения и повествования:

Н.М. Карамзин: «Владимир мог бы креститься и в собственной столице своей, где уже давно находились церкви и Священники Христианские; но Князь пышный хотел блеска и величия при сем важном действии: одни Цари Греческие и Патриарх казались ему достойными сообщить целому его народу уставы нового богослужения. Гордость могущества и славы не позволяла также Владимиру унизиться, в рассуждении Греков, искренним признанием своих языческих заблуждений и смиренно просить крещения: он вздумал, так сказать, *завоевать* Веру Христианскую и принять ее святыню рукою победителя»⁷.

С.М. Соловьев: «Таким образом, все было готово к принятию новой веры, ждали только удобного случая. *«Подожду еще немного»*, — говорил Владимир, по свидетельству начального летописца киевского. Удобный случай представился в войне с греками; предание тесно соединяет поход на греков с принятием христианства, хочет выставить, что первый был предпринят для второго. Владимир спросил у бояр: «Где принять нам крещение?» Те отвечали: «Где тебе любо». И по прошествии года Владимир выступил с войском на Корсунь»⁸.

В своих публичных лекциях С.М. Соловьев этот эпизод изложил так: «Не станем повторять дальнейших подробностей о том, как Владимир, не смея прямо приступить к такому великому делу, говорит: *«Подожду еще немного»*, и предпринимает поход на Корсунь; заметим, что это предание так верно и естественно, что мы имеем право принять его...»⁹. Сопоставление эпизода из «Истории России с древнейших времен» с фрагментом публичных лекций показывает характер несовпадения устного и письменного дискурса ученого. Инвариантная часть – слова князя Владимира – составляет центр эпизода.

В случае с текстом С.М. Соловьева мы имеем дело с эмоциями от критической переработки чужого текста и его остранения посредством игры авторского и чужого слова. Ср.: «По русскому преданию, то же самое средство употребил у нас греческий проповедник и произвел так же сильное впечатление на Владимира; после разговора с ним Владимир, по преданию, созывает бояр и городских старцев и говорит им...» И далее: «Владимиру, по преданию,

⁶ Е.Е. Голубинский. История русской церкви: В 2-х т. М., 1880. Т. 1. 1-я половина тома. С. 96.

⁷ Н.М. Карамзин. История государства Российского: В 12-и т. М., 1989. Т. 1. С. 150-151.

⁸ С.М. Соловьев. История России с древнейших времен // С.М. Соловьев. Сочинения: В 18-и кн. М., 1988. Кн. 1. Т. 1. С. 173.

⁹ С.М. Соловьев. Взгляд на историю установления государственного порядка в России до Петра Великого // С.М. Соловьев. Избранные труды. Записки. МГУ., 1983. С.23.

нравился чувственный рай магометов, но он никак не соглашался допустить обрезание, отказаться от свиного мяса и от вина»¹⁰.

Это троекратное «по преданию» достаточно красноречиво свидетельствует о попытках установить дистанцию между излагаемыми событиями и порождаемым текстом.

Сохраняя фабулу дела, С.М. Соловьев создает принципиально новый сюжет принятия христианства. Вероятно, более глубокое изучение этого и других тематизмов любого крупного историка могут стать основой для изучения проблемы сюжетосложения при порождении исторического дискурса, точно в такой же мере, как мы говорим о технике сюжетосложения в художественных текстах.

Отказ от амплификации в пользу экзегезы позволяет вписать мистический акт в систему позитивного знания. Результатом такого вписывания становится дедуктивный способ текстообразования. С.М. Соловьев не привлекает каких-либо новых фактов в сравнении с ПВЛ, но накладывает на них определенную дедуктивную решетку. Дедукция, в противоположность индукции, которой пользовался, например, Татищев, не всегда указывая источники новых фактов, повышает для объективистского мышления второй половины XIX в. ранговость текста, его так называемую научность.

Интересно отметить, что при всей близости субъективных установок обоих историков их письмо принципиально различно.

Н.М. Карамзин: «Не позволяя себе никакого изобретения, я искал выражений в уме своем, а мыслей единственно в памятниках; искал духа жизни в тлеющих хартиях; желал преданное нам веками соединить в систему ясную стройным сближением частей»¹¹.

С.М. Соловьев: «Не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, но соединять их, следить преимущественно за связью явлений, за непосредственным преемством форм, не разделять начал, но рассматривать их во взаимодействии, стараться объяснить каждое явление из внутренних причин, прежде чем выделить его из общей связи событий и подчинить внешнему влиянию...»¹².

Кажется, что Н.М. Карамзин озабочен «планом выражения» гораздо сильнее С.М. Соловьева и его письмо должно быть более риторичным, при ближайшем же рассмотрении обнаруживается, что нарратив С.М. Соловьева не менее риторичен, но эта риторика иного свойства. Письмо обнаруживает себя через автоматизм текстопорождения, вот почему некоторая избыточность текста может сигнализировать о сформировавшемся письме, водящим рукою историка как бы помимо его воли. Письмо Н.М. Карамзина соединяет материал исторических документов «в систему» при помощи эстетических механизмов, а в данном конкретном случае с помощью парадигмального развертывания исходной метафоры. Письмо Соловьева насквозь рационалистично и строится как синтагматическое развертывание исходной темы.

¹⁰ С.М. Соловьев. История России с древнейших времен. Т. 1. С.170-171.

¹¹ Н.М. Карамзин. История государства Российского. Т. 1. С.20.

¹² С.М. Соловьев. История России с древнейших времен. Т. 1. С. 51.

В приведенном отрывке, описывая Владимира, Н.М. Карамзин вводит метафору «Князь пышный», и эта метафора определяет весь строй дальнейшего повествования: поэтому он «хотел блеска», поэтому «одни Цари греческие и Патриарх казались ему достойными», поэтому «гордость могущества и славы не позволяла <...> Владимиру унизиться», поэтому он не мог «смирненно просить крещения», поэтому он «вздумал <...> *завоевать* Веру Христианскую». Здесь важно подчеркнуть не содержательный слой исторического нарратива, имеющий своим истоком психологический презентизм, на который справедливо указывали исследователи творчества Н.М. Карамзина¹³, но тот способ повествования, который организован не по законам синтагматического нанизывания, а по правилам парадигмального развертывания исходной метафоры на уровне сверхфразовых единиц. Такое письмо обеспечивает убедительное портретирование князя Владимира и может быть обратным движением свернуто в исходную метафору «Князь пышный».

Историографическое письмо С.М. Соловьева синтагматично и дедуктивно. Цитированный фрагмент раскладывается на последовательные сегменты, опирающиеся на слова: «ждали случая» — «подожду» — «случай». Письмо Соловьева по своей композиции гетерогенно: точка зрения потомка перемежается с позицией современника, данной зачастую отстраненно, со ссылками на источники.

Историографическое письмо, превращаясь в дискурс, преодолевает индивидуальные системы текстопорождения, формирует устойчивые конструкты, обладающие большой инерционностью. Признаками складывания исторического дискурса можно считать преодоление жанровых рамок и появление эпигонских повторов. Историографическое эпигонство отличается от литературного более скрытым характером в виду невыраженности форм исторического письма и зачастую может не осознаваться автором. Граница между письмом и дискурсом пролегает в области измерений и может быть уподоблена соотношению плоскостных и объемных фигур. Объем историческому дискурсу придает «захватывание» им сфер, прямо не относящихся к историографии и не только не связанных с концептуальными построениями историков, но в какой-то мере эти построения формирующих.

Примером превращения письма в дискурс является выявленное В.Н. Топоровым соединение «исторического», «пейзажного» и эмоционально-познавательного у Н.М. Карамзина: «историческое» завязано вокруг *изме-*

¹³ Н.Я. Эйдельман: «Карамзин никогда не станет придумывать тех слов или событий, которых не видел в документах; однако, прочитав в летописи одну фразу, что византийская царевна Анна не хотела идти за киевского князя Владимира «яко в полон», историк излагает затем дело так: «Анна ужаснулась: супружество с князем народа, по мнению греков, дикого и свирепого, казалось ей жестоким пленом». Как видим, сочинен целый «внутренний монолог» ужаснувшейся Анны; ученый, работающий в XX веке, был бы тут крайне осторожен <...> Карамзин же рассудил, что если в 988 году психология в основном не отличалась от 1806-го, значит Анна думала так, как на ее месте — княжна или царевна из семьи Габсбургов, Бурбонов, Романовых...» (Н.Я. Эйдельман. Последний летописец. М., 1983. С. 61).

няющегося времени, «пейзажное» — вокруг *устойчиво-неизменного* пространства¹⁴. Наблюдения В.Н. Топорова касаются не только прозы Н.М. Карамзина, но и его исторического дискурса: «Легко заметить, что говоря об истории, о толще «исторического» времени, в которую вглядывается историк, Н.М. Карамзин пользуется пространственным кодом <...> Эмоции «положительно-приемлющего» характера свидетельствуют о том, что в процессе обращения к истории и к природе человек удовлетворяет свои общие потребности»¹⁵. Соединение столь разнотипных пластов предполагает возможность выстраивания их отношений по принципу изоморфизма. Противопоставляя Историка Летописцу, Н.М. Карамзин заметил: «Историк не Летописец: последний смотрит единственно на время, а первый на свойства и связь деяний: может ошибиться в распределении *мест*, но должен всему указать свое *место*»¹⁶ (курсив наш — Ю.Т., Ю.Ш.). Здесь пространственная характеристика — «место» — включена в хронологический ряд и может восприниматься амбивалентно — как хронотопическое понятие. Наиболее явно хронотоп «природного» и «исторического» проявился у Н.М. Карамзина в такой дискурсивной операции, как проведение периодизации отечественной истории. Отвергнув шлецеровскую периодизацию и выстраивая свою, историк заключил: «Впрочем нет нужды ставить *границы* там, где *места* служат живым *урочищем*»¹⁷ (курсив наш — Ю.Т., Ю.Ш.). Синонимируя хронологическое «границы», зафиксированные в летописи, с природно-пространственным «урочище», Н.М. Карамзин невольно затрагивает проблему двух разных типов организации культурно-исторической памяти: «Иероглиф, написанное слово или буква и идол, курган, урочище — явления, в определенном смысле, полярные и взаимоисключающие. Первые обозначают смысл, вторые *напоминают* о нем»¹⁸. То, что дискурсивная практика многократно воспроизводится на лексическом, наименее осознаваемом, уровне указывает на ее неслучайный характер.

Инерционность исторического дискурса Н.М. Карамзина сказывалась не только в том, что все последующие историки вынуждены были так или иначе соотноситься с «Историей государства Российского», но и в попытках осознанного или бессознательного эпитонства. «Биографическое» и концептуальное эпитонство М.П. Погодина — факт очевидный. Гораздо интереснее обнаружить подражание на уровне исторического дискурса. В комментарии к своей «Древней русской истории до монгольского ига», М.П. Погодин писал: «Мечтал поселиться где-нибудь на берегу Балтийского моря, в Дании или Швеции, и там описывать подвиги наших Варягов, потом в Москве приготовляться к удельному периоду, и затем отправиться на Днепр, в Киев, а наконец в Кяхту, чтобы познакомиться с Монгольскими степями и их обитателями...»¹⁹. Оче-

¹⁴ В.Н. Топоров. «Бедная Лиза» Карамзина. Опыт прочтения: К двухсотлетию со дня выхода в свет. С. 90.

¹⁵ Там же. С. 91.

¹⁶ Н.М. Карамзин. История государства Российского. Т. 1. С. 20.

¹⁷ Там же. С. 21.

¹⁸ Ю.М. Лотман. Внутри мыслящих миров. М., 1996. С. 352.

¹⁹ М.П. Погодин. Древняя русская история до монгольского ига. М., 1872. Т. 2. С. VI.

видно, что не археологические, не архивные и не этнографические цели двигали мечтой историка, а к ней он возвращался несколько раз, в том числе, в своей переписке с С.М. Соловьевым. Понять это, как кажется, странное желание можно с помощью карамзинского кода: слияние неизменного «природного» и изменяющегося «исторического» позволит историку проникнуть «к концу горизонта, где густеют, меркнут тени и начинается непроницаемость»²⁰.

Если исторический дискурс Н.М. Карамзина в основе своей содержит эстетическое ядро и чутко улавливает художественность самого исторического материала, то письмо С.М. Соловьева строится на некоторых исходных исторических представлениях и потому поддается редукции к концептуальным схемам, рискуя приобрести смысловую избыточность. Однако, против этой угрозы в дискурсе С.М. Соловьева работает мощный механизм исторического повествования, близкого к документальному пересказу. Можно было бы сказать, что от избыточности и внутренних противоречий дискурс Соловьева спасается своей пространностью.

Н.М. Карамзин может считаться одним из первых изобретателей собственно исторического дискурса в России. Основу его дискурса можно определить как гармоническое сочетание «научности и сентиментальности». Если научность проявляется в первую очередь в системе дифференциации понятий, то сентиментальность определяет наррацию и скрипцию, то есть практически все, что выходит за установленные дифференциалы.

Так, Н.М. Карамзин, по-видимому, был первым из историков, кто разграничил две стороны, связанных с принятием христианства на Руси:

- а) историческую неизбежность отказа от языческого религиозного плюрализма и переход к монотеизму;
- б) выбор из четырех монотеистических систем православия.

Он же один из первых указывает на главное орудие христианства — духовное просвещение: «взял лучшие, надежные меры для истребления языческих заблуждений. *Он старался просветить Россию*» (курсив Н.М. Карамзина — Ю.Т., Ю.Ш.).

Общее пространство исторического дискурса, разумеется, сенсуалистское (сентименталистское применительно к стилевым особенностям). Н.М. Карамзин максимально сближает образ летописца с образом автора «Истории государства Российского». Такое сближение достигается путем «тоннельного эффекта». Историк в максимальной степени солидаризируется с всезнающим летописцем, благодаря чему достигается определенная эпичность повествования со строго этикетными формулами: «древний Летописец наш повествует...», «Летописец наш *угадывал* (выделено Н.М. Карамзиным — Ю.Т., Ю.Ш.), каким образом проповедники Вер должныствовали говорить с Владимиром», «так повествует наш Летописец, который мог еще знать современников Владимира, и потому достоверный в описании важных случаев его княжения»²¹.

Однако за эпичностью и этикетностью формул достаточно отчетливо просматривается противоположная стратегия, связанная с желанием свести

²⁰ Карамзин. История государства Российского. Т. 2. С. 20

²¹ Там же. С. 148, 149, 150.

точку зрения летописца к сенсуалистскому пониманию исторического процесса. Переходя к экзегезе, Н.М. Карамзин выбирает из всех точек зрения именно точку зрения сентиментализма, видевшую в христианстве прежде всего религию, удовлетворяющую всем главным потребностям души человеческой, а не истине, что в большей мере согласуется с ортодоксальной христианской доктриной. Главный порок язычества, по Н.М. Карамзину, в том, что «о жизни за пределами гроба, столь любезной человеку, Вера не сообщала им никакого ясного понятия: *одно земное* (выделено Н.М. Карамзиным – Ю.Т., Ю.Ш.) было ее предметом. Освящая добродетель храбрости, великодушия, честности, гостеприимства, она способствовала благу гражданских обществ в их новости, но не могла удовлетворить сердца чувствительного и разума глубокомысленного. Напротив того Христианство, представляя в едином невидимом Боге создателя и правителя вселенныя, нежного отца людей, снисходительного к их слабостям, и награждающего добрых – здесь миром и покоем совести, а там, за тмою временной смерти, блаженством вечной жизни – удовлетворяет всем главным потребностям души человеческой»²².

Пример Н.М. Карамзина убедительно показывает, что парадигмы художественности, пусть и в меньшей мере, чем для текстов художественных, свойственны историческому дискурсу не только в плане стиливого выражения, но и в плане способа мышления и представления исторической фабулы.

Представляется возможным выявить некоторое измерение исторического нарратива, не сводимое ни к индивидуальным особенностям историка, его «почерку», ни к содержательным характеристикам историографического текста, ни к течениям исторической мысли эпохи. Такой характеристикой может стать *историографическое письмо*, понятое как некоторая дискурсивная практика. Именно историографическое письмо выступает в таком случае как синтагматическая развертка некой предшествующей ему схемы, которая существует в сознании историографа и является в прямом смысле парадигмой языка, определяющего специфику исторического дискурса.

²² Там же. С. 149.